

Высшая школа экономики
Факультет философии

Философия. Язык. Культура.
Выпуск 3



Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2012

Печатается по решению Ученого совета факультета философии
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)

Философия. Язык. Культура. Вып. 3 / отв. ред.
Горбатов В.В. — СПб. : Алетейя, 2012. — 368 с.

ISBN 978-5-91419-840-1

Сборник содержит статьи, посвящённые осмыслению широких взаимосвязей языка и культуры, философских аспектов познания, коммуникации и понимания, исследованию символического измерения бытия человека и культуры.

Книга предназначена философам, культурологам, специалистам в области языкознания, истории политических и правовых учений, широкому кругу учёных-гуманитариев.

УДК 1.101 + 1.14-18 + 7.01
ББК 71.0 + 81 + 87

ISBN 978-5-91419-840-1

© Коллектив авторов, 2012

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2012

Философия, религия, культура

Е.В. Рапопорт

ГЕРЦЕН И ГЕГЕЛЬ: ОБ ИСТОРИИ И НАПОЛЕОНЕ

This paper provides some comparison of Herzen's and Hegel's notions on philosophy of history and claims to represent Herzen, anatomizing the situation of European riots of the mid. 19th century, as a thinker of current interest. While Herzen asserts that history is a development process with no predetermined goal, Hegel (whose works were very important for Russian intellectuals of Herzen's generation) proclaims that history has already ended with the Napoleon's Empire and his own – Hegel's – philosophy.

Ключевые слова: Герцен, Гегель, Наполеон, конец истории, французская история XIX века

Keywords: Herzen, Hegel, Napoleon, the end of history, French history of the 19th century

На протяжении XX века Герцена не раз уже пытались представить как «современника и попутчика», в этом, видимо, и состоит одно из достоинств его сочинений: века приходят, эпохи сменяются, но для каждого следующего поколения не исключена возможность воспринять Герцена как автора, толкующего (весьма метко, причем) о том, что происходит именно здесь и сейчас.

Герцен препарирует революционную ситуацию (ситуацию протестов и волнений — как сегодня характернее говорить о в общем-то сходного порядка событиях), без иллюзий рассматривая роль и стремления каждой из групп, принимающих в ней участие, рассуждает о массах, противопоставляя им некую малочисленную элиту и безапелляционно провозглашает Закат Европы. Причем делает он все это в конце 40-х годов XIX века.

Вот какие выводы можно сделать, перечитав «С того берега» Герцена в наши дни. Оказывается, это не просто наиболее

обращённое к исторической и социально-исторической проблематике произведение первого русского западника, но и изумительно актуальный, важный и интересный здесь и сейчас текст не только в силу рассматриваемых в нём коллизий, но и благодаря даваемым им оценкам.

В рассуждениях о творчестве Герцена чаще всего принято вписывать его в тот или иной политический (социалистический, либеральный или даже до некоторой степени консервативный) контекст, способы интерпретации которого оказываются обусловлены главенствующими в конкретный момент интеллектуальными и даже идеологическими трендами. Если же речь заходит о философии, то она обычно представляется в свете противостояния славянофилов и западников. Однако «С того берега» даёт все основания взглянуть на Герцена не как на литератора и общественного деятеля, а именно как на мыслителя, имевшего свои специфические воззрения относительно хода истории.

Русские философы в подавляющем большинстве озабочены судьбой России — судьба эта историческая. То есть мысль о ней вполне может укладываться в рамки философии истории. Вот и приуроченная к трехсотлетию со дня рождения конференция «Александр Герцен и исторические судьбы России» Института философии РАН указывает ровно на это. Однако наиболее подходящим мыслителем, которого можно было бы выбрать для проведения некоторых параллелей, представляется отнюдь не соотечественник, а не кто иной как Г.В.Ф. Гегель, автор самой развернутой и самой влиятельной концепции философии истории своего времени. Больше того, Гегель был весьма популярен в России начала 40-х годов, на каковые приходится студенческая пора Герцена, виднейшие представители ближайшего окружения которого — Станкевич, Белинский, Бакунин (как, впрочем, и сам Александр Иванович) взалхлеб изучают и обсуждают идеи «Науки логики», «Феноменологии духа» и «Энциклопедии философских наук».

Есть и ещё одно особое, вполне «историческое» обстоятельство, сближающее Герцена и Гегеля, которое состоит в том, что в биографиях (и автобиографиях — что важнее) обоих присутствует встреча с Наполеоном. И в том, и в другом случае эта

встреча знаменует собой своеобразную отправную точку, некоторое начало.

Когда Наполеон в 1806 году входит в Йену, рукопись «Феноменологии духа» уже написана — Гегель, как принято об этом говорить, в момент встречи идёт по улице с этой рукописью в кармане (что несколько проблематично себе представить, учитывая объем сочинания), но за этим последует её обнаружение, обсуждение, развивающаяся по восходящей карьера в стенах университета.

У Герцена встрече с Наполеоном, которой, впрочем, удостоивается не он сам, а его отец — Иван Алексеевич Яковлев, посвящен первый же сюжет первой главы первой книги «Былого и дум». Слушая рассказы нянюшки о пожаре в Москве и о бегстве семьи из сданного неприятелю города, маленький Герцен «с гордостью улыбался, довольный, что принимал участие в войне» [2, с. 17]. Тогда как встречу с императором Гегеля он тоже в дальнейшем описывает и на свой лад интерпретирует в дневниковой записи от 30 августа 1844 года.

Встреча с Наполеоном, собственно, лучшая иллюстрация столкновения отдельного человека со стихийной силой истории. В то время как и сама фигура Бонапарта, и значение встречи с ним для биографии — личной истории, — могут быть восприняты совершенно по-разному, в зависимости от того, кем и как трактуется история мировая, всеобщая. Для Гегеля император олицетворяет определенного рода созидание — становление истории в её конечном, завершенном виде: «эту мировую душу, я увидел, когда он выезжал на коне на рекогносцировку. Поистине испытываешь удивительное чувство, созерцая такую личность, которая, находясь здесь, в этом месте, восседая на коне, охватывает весь мир и властвует над ним» [1, с. 255]. Однако же для Герцена Наполеон, безусловно, совсем наоборот, разрушитель — разрушитель размеренной жизни его семьи, которой приходится спасаться из горящего города вместе с самим Герценом, бывшем только ещё грудным младенцем, — но и разрушитель устремленного в некое (не обязательно для нас понятное и познаваемое) направления хода истории. «Можно сбить с пути целое поколение, ослепить его, свести с ума, направить к

ложной цели, — Наполеон доказал это» [4, с. 138], — вот как смотрит на это Герцен.

Герцен и Гегель — оба оказываются свидетелями истории, оба проживают в тот самый момент в тех самых городах, куда вторгается Бонапарт, и хотя Герцен не встречается с императором лично, зато становится очевидцем продолжения этой «истории», когда, после падения некогда либеральной Июньской монархии, первым президентом Французской республики избирается племянник Наполеона I Луи-Наполеон Бонапарт.

Поэтому, если Гегель встречается со своим абсолютным духом уже после завершения «Феноменологии...», то Герцен, можно предположить, скорее начинает рассуждать об истории потому, что сам оказывается у неё на дороге¹, находясь под впечатлением от Французской революции 1848 года. Таким образом, «С того берега» — книга, как к ней относился сам Герцен, однако составленная из статей, первоначально публиковавшихся в журналах Прудона, Колачека и др. — отнюдь не отвлеченное рассуждение об истории. Автор приходит к нему не через абстрактные размышления, которым предается в уединенной тиши своего кабинета. Напротив, он ходит по «мрачным и пораженным ужасом» бульварам и улицам охваченного очередным восстанием Парижа, рискуя, по меньшей мере, быть арестованным². Так что сами события, разворачивающиеся у него на глазах, подталкивают к тому, чтобы как-то определить и обозначить свою позицию.

Наблюдая и переживая этот «период бурь и революций», — как характеризует 1848–1871-е годы В.И. Ленин [7, с. 2], многократно затем процитированный самыми разными советскими исследователями — Герцен демонстрирует исключительное чувство истории. Для него события, разворачивающиеся

¹ Сам он в предисловии к пятой части «Былого и дум», говорит, что его труд — «не историческая монография, а отражение истории в человеке, случайно попавшемся на её дороге». (Герцен А.И. Собр. соч. Т. 10. М., 1956. С. 11).

² Глава пятой части «Былого и дум», где описывается эпизод с попыткой ареста, называется «В грозу», тогда как первые две части «С того берега» носят названия «Перед грозой» и «После грозы» и посвящены, собственно, рефлексии по поводу европейских событий 1847–1848 гг.

ся прямо на глазах, — уже исторические, их можно брать за примеры для рассуждений об истории вообще.

Больше того, Герцен формулирует свои мысли об истории как раз тогда, когда главным и наиболее деятельным её субъектом оказывается, если пользоваться современным языком, — протестующий, причем протестующий весьма самоотверженно, даже яростно. Хотя для Герцена это не столько персона, личность³, сколько масса. «Народы, массы — это стихии... их путь — путь природы, они, её ближайшиe преемники, влекутся темным инстинктом, безотчетными страстями, упорно хранят то, до чего достигли, хотя бы оно было дурно; ринутые в движение, они неотразимо увлекают с собою или давят все, что попало на дороге, хотя бы оно было хорошо. Они идут, как известный индийский кумир⁴, все встречные бросаются под его колесницу, и первые раздавленные бывают усерднейшие поклонники идола. Народы обвинять нелепо, они правы, потому

³ Показательным для современной истории можно считать факт признания влиятельным американским журнал «Тайм» протестующего в качестве персоны (Person of the Year) 2011 года. (Time. December 28 2011/January 2 2012).

⁴ Интересное рассуждение об истории как «колеснице Джаггернаута» (который в этой цитате подразумевается) и «Былом и думам» Герцена как образце биографического самоописания для многих русских интеллигентов XX века можно встретить в статье Паперно И.Б. Советский опыт, автобиографическое письмо и историческое сознание: Гинзбург, Герцен, Гегель // НЛО, 2004. №68

Собственно, метафора колесницы Джаггернаута тоже идёт от Гегеля, из его Лекций по философии истории (См. : Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. СПб., 1993. С. 189).

На самом деле со ссылкой на рассказ «одного англичанина» там идёт речь об индуистском храме в городе Джаггернаут (*Juggernaut*), где прихожане во время праздников, когда по улицам возят колесницу со скульптурным изображением бога Вишну, бросаются под её колеса, веря, что таким образом возможно достичь освобождения от перерождений и перенестись сразу в духовный мир.

Впрочем, с точки зрения Гегеля, все эти жертвы объясняются отнюдь не спецификой религиозных убеждений, а только тем, что «индусам чужд моральный принцип, заключающийся в уважении к человеческой жизни».

что всегда сообразны обстоятельствам своей былой жизни; на них нет ответственности ни за добро, ни за зло, они факты, как урожай и неурожай» [4, с. 81].

События, которые описывает и анализирует Герцен, которые его, несомненно, волнуют, развиваются от свержения короля Луи-Филиппа I в ходе народных восстаний до прихода к власти в результате законных прямых (французы в этот момент имеют самые широкие в Европе избирательные права) выборов Луи Бонапарта. «Если б вы были знакомы с внутренней жизнью Франции, вы не удивлялись бы, что народ хочет вотировать за Бонапарта; вы знали бы, что народ французский не имеет ни малейшего понятия о свободе, о республике, но имеет бездну национальной гордости; он любит Бонапартов» [4, с. 83–84], — довольно жестко высказывается Герцен о том, кто всего четыре года спустя, не удовлетвовавшись статусом первого французского президента, объявит себя императором.

Словом, в отличие от йенского профессора, Герцен едва ли благоговеет перед Императором либо императорами, зато в «Былом и думах», дневниках, письмах содержится множество упоминаний имени самого Гегеля, гегельянства (или, как тогда называли его, — гегелизма) и гегельянцев. Есть даже рассуждения о влиянии Гегеля на Прудона — автора для Герцена, пожалуй, наиболее важного.

В письмах начала 40-х годов он говорит если и не о восхищении Гегелем, то об уважении к нему. Прежде рассуждает о своем стремлении его изучать. Когда просит прислать книг — простит побольше исторических и гегелевских [5, с. 13-14]. Немало рассуждений об отдельных отрывках из Гегеля можно найти в дневнике.

Но в целом отношение не однозначно: Герцен то восторгается немецким классиком, то довольно сурово его бранит. «...К концу книги точно въезжаешь в море — глубина, прозрачность, веяние духа несет — *laschiati ogni speranza* — берега исчезают внутри его... — пишет Герцен о прочтении «Феноменологии духа в письме Краевскому в 1842 году. — Я дочитал с биением сердца, с какою-то торжественностию. Г<егель> — Шекспир и Гомер вместе» [5, с. 128]. Однако вот какие рассуждения будут отнесены примерно к тому же периоду в «Былом и думах», при

написании которых о своих юношеских восторгах Герцен предпочитает по большей части умалчивать: «Гегель во время своего профессората в Берлине, долею от старости, а вдвое от довольства местом и почетом, намеренно взвинтил свою философию над земным уровнем и держался в среде, где все современные интересы и страсти становятся довольно безразличны, как здания и села с воздушного шара; он не любил зацепляться за эти проклятые практические вопросы, с которыми трудно ладить и на которые надобно было отвечать положительно» [4, с. 22]. Главная черта философии Гегеля, которую категорически отказывается принять Герцен — это идеализм: «с Гегелем начинаю ссориться за то, что он все натягивает идеализм» [5, с. 163].

В советских источниках нередко говорится о том, что, когда в Европе гегелевская философия критиковалась как устаревшая, Герцен продолжал почитать Гегеля как великого мыслителя, «вооружающего человека мощным тараном диалектической мысли» [8, с. 560]. В четвертой части «Былого и дум» действительно есть ставшая хрестоматийной фраза о философии Гегеля, как алгебре революции, которая «необыкновенно освобождает человека и не оставляет камня на камне от мира христианского, от мира преданий, переживших себя» [2, с. 24].

Понятно, что в свое время идеологически ангажированные исследователи не могли не поднять эту цитату на щит, однако, не меньше, а, пожалуй, даже больше фрагментов, из которых следует, что Гегель (особенно поздний) для Герцена не столько прогрессивный автор, сколько идеалист, тогда как «мало нервных болезней упорнее идеализма» [4, с. 66]. В то время из сочинений, проникнутых духом идеализма, черпают свое вдохновение отнюдь не западники и социалисты, а славянофилы, для которых нет никакого противоречия между «Феноменологией духа» и глубокими религиозными убеждениями, а также специфически русской идеей соборности. «Часть московских славян с Гегелем в руках взошли в ультраславянизм» [2, с. 39].

Сложность и непрозрачность текста «Феноменологии...», собственно, легко позволяет формулировать полярно противоположные друг другу трактовки, смотреть на Гегеля то как на атеиста (Кожев), то как на протестантского теолога, то как на провозвестника современного либерального государства, в ко-

тором возможно равное признание (Фукуяма), то как на консерватора и этатиста, ставящего государство превыше всего, нивелирующего значение личности на фоне самораскрытия абсолютного духа в истории (что как раз и могло быть созвучно славянофилам).

В глазах Герцена славянофилы — запоздалые романтики, «глубоко скорбящие об умершем мире, который им казался вечным; они не хотят с новым иметь дела иначе, как с копьём в руке; верные преданию средних веков, они похожи на Дон-Кихота и скорбят о глубоком падении людей, завернувшись в одежды печали и сетования» [3, с. 10]. Как западнику ему понятнее не соборность, которую, при желании, можно соотнести с идеей единого мирового духа, а здоровые индивидуализм и даже эгоизм (продолжающие критиковаться сторонниками самобытного развития и по сей день).

Но если говорить о западничестве Герцена, то «С того берега» — текст «западный» ещё и в том смысле, что, в ходе рассуждений об истории, в нём рассматривается история Европы в целом (что по тем временам немногим отличалось от обращения ко всемирной истории, которую либо плохо себе представляли, либо судили об особенностях развития каких-либо других регионов по все той же западной — европейской мерке; подобное понимание истории обнаруживает в своих лекциях и Гегель), подтверждая или опровергая те или иные предположения именно при помощи европейского материала, а не обращается к истории России и тем более к истории России в её уникальности, каковой акцент в историософском рассуждении был характерен для подавляющего большинства русских мыслителей.

Но и с западниками Герцен далеко не во всем единодушен. «Все действительное разумно» — очень близко и очень лично принимаемая русскими гегельянцами мысль, в числе её сторонников и близкий друг Александра Ивановича Виссарион Белинский. Ничего подобного в общем-то нет в видении истории самим Герценом. Именно это и придает дополнительный интерес сопоставлению взглядов на историю, присущих двум выбранным авторам, — Гегелю и Герцену — практически во всех аспектах полная их противоположность.

Представление о цели и финале (если таковой возможен) истории есть основание выделить как, пожалуй, наиболее существенный момент расхождения их позиций. Сложно отделаться от ощущения, что Герцен, безусловно хорошо знакомый с творчеством Гегеля, в своих рассуждениях об истории вполне преднамеренно и именно ему выражает, именно с ним полемизирует, хотя и делает это, не называя имен.

Гегель явился мощным источником вдохновения для многих других мыслителей, благодаря которым на протяжении XX века широко обсуждалась концепция конца истории. Однако наступил новый век и все имевшиеся аргументы в пользу возможности, даже если не здесь и сейчас, то хотя бы в обозримом будущем, какой-либо завершенности исчерпали себя. Обращаясь к событиям революций середины XIX века, которые советская историография характеризовала как буржуазные, есть соблазн провести параллель с историей современной: вслед за объявлением конца истории (Гегелем либо Фукуямой) почти одновременно в разных уголках мира вспыхивают протесты и волнения, недвусмысленно демонстрирующие, что историю ещё рано списывать со счетов, так как ничего даже отдаленно похожего на идеал, который мог бы стать пределом её развития, пока не достигнуто. Если в случае с некоторыми европейскими революциями середины XIX на них ещё можно было бы попытаться смотреть именно как на попытку установления того государственного строя, который знаменует собой завершение исторического развития, то бесконечные (притом кровавые) колебания Франции от республики к монархии и вновь к республике, в наибольшей степени заставляют в реальности и осуществимости подобного строя усомниться.

У атеиста Герцена, в отличие от Гегеля, в отличие от русских религиозных мыслителей, таких как, например, Владимир Соловьёв с его «Тремя разговорами», никакого финализма в рассуждениях об истории нет. Но вместо этого у него явственно сквозит острое чувство конца эпохи, предчувствие гибели старого мира и возникновения нового, необходимости смены социально-политических парадигм.

Если по Гегелю история завершаема, более того — уже завершилась, то для Герцена «история не имеет того строгого,

неизменного предназначения, о котором учат католики и проповедают философы» [4, с. 138]. Но даже если бы у истории был конец — он не важен. Потому что устремление всех взглядов на него обесценило бы остальное.

Отсутствие цели не дегуманизирует историю, наоборот, оставляет в ней место для человека, придает ценность его собственным действиям, выбору, существованию. Процесс оказывается важнее результата. «Если б человечество шло прямо к какому-нибудь результату, тогда истории не было бы, а была бы логика, человечество остановилось бы готовым в непосредственном *status quo*, как животные» [4, с. 37].

Согласно Гегелю, по крайней мере, как его в дальнейшем трактует Александр Кожев — безусловно, наиболее известный и влиятельный интерпретатор «Феноменологии духа», это в общем-то и происходит. История как специфически человеческий процесс начинается тем, что человек выходит за границы природного мира, переступая через самое главное естественное начало — инстинкт самосохранения, тогда как после конца истории человек возвращается обратно в животное состояние. Если цель истории осуществлена, нет больше смысла и необходимости совершать характеризующее именно человека действие, состоящее в (диалектическом) отрицании. Соответственно, когда нет отрицания, нет более ни истории, ни человека, только не подверженный изменениям природный мир.

Для Герцена между природой и историей нет «каменной стены», человек и там и тут должен быть дома. Идея же о конечности индивидуального человеческого бытия очевидная для материалиста-Герцена была не менее необходима для той трактовки «Феноменологии духа», которую формулировал Александр Кожев. В связи с рассуждениями о природном и историческом бытии можно отметить и эволюцию собственных взглядов Герцена. В работах первой половины 40-х годов «Дилетантизм в науке» и «Письмах об изучении природы» присутствует вера в телеологичность природного мира, конечная цель которого в возникновении разумного сознания. Далее в наличии какой-либо заданной цели и природе, и истории отказывается.

Однако если высшей цели нет ни у истории, ни у человеческой жизни (то есть такой цели, которая могла бы быть достиг-

нута только уже за этой жизни пределами), главным оказывается не прошлое или будущее, а настоящее. В «С того берега» это не слишком чувствуется, так как конкретное настоящее, по поводу которого рефлексировал автор, — мрачно. Нет в чистом виде идеи исторического прогресса, идущей от Просвещения (когда, собственно, появляется сам этот термин), от Гегеля, а далее уже развиваемой Марксом. Развитие — есть, но у него нет конкретного раз и навсегда заданного пункта назначения, в который бы надлежало прийти, возможна некоторая логика истории, но в разных ситуациях обстоятельства способны поворачиваться по-разному. Никакого «либретто» нет, в истории все импровизация [4, с. 37].

«...История может продолжаться миллионы лет. С другой стороны, я ничего не имею против окончания истории завтра. Мало ли что может быть! Энкиева комета зацепит земной шар, геологический катаклизм пройдет по поверхности, ставя все вверх дном, какое-нибудь газообразное испарение сделает на полчаса невозможным дыхание — вот вам и финал истории» [4, с. 38], — говорит один из участников первой главы «С того берега» — диалога «Перед грозой», из чего явно следует, что для Герцена нет никакой имманентно присущей истории тенденции к завершению, единственное, что может к нему привести — внешние (то есть природные) катастрофические причины.

Однако же человеку неуютно жить с осознанием полной неопределенности будущего, — Герцен такое возможное возражение признает, но вкладывает его в уста второго участника названного диалога, который скорее оппонирует собственным авторским идеям или же задает к ним вопросы, оказывавшихся актуальными в те периоды, когда религиозное мышление (предлагающее свой вариант в тоже определенном смысле комфортного финализма) по большей части утрачивало свою ведущую роль в обществе. Выход из указанной исторически-экзистенциальной неопределенности — жить настоящим. На сходном основании Ницше⁵ будет затем критиковать присущий немецкой мысли историзм (берущий свои истоки, в пер-

⁵ См. : Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни.

вую очередь, из Гегеля): внимание к истории приводит к забвению настоящего, тогда как преклонение перед монументальным в истории заставляет мельчать время нынешнее. И Герцен, и Ницше — два противника христианства, оба по-своему выступают против осуществляемого им удвоения мира.

Цель индивида не в том, чтобы жить для чего-либо — будь то свершение исторической судьбы мира или забота о заслугах, призванных обеспечить должное место в посмертном существовании. Индивид ценен сам по себе, что очевидно для западника, но отнюдь не безусловно для славянофила. «Не проще ли понять, что человек живет не для совершения судеб, не для воплощения идеи, не для прогресса, а единственно потому, что родился и родился для (как ни дурно это слово) ...для настоящего, что вовсе не мешает ему ни получать наследства от прошедшего, ни оставлять кое-что по завещанию... все великое значение наше при нашей ничтожности, при едва уловимом мелькании личной жизни в том-то и состоит, что пока мы живем, пока не развязался на стихии задержанный нами узел, мы все-таки сами, а не куклы, назначенные выстрадать прогресс или воплотить какую-то бездомную идею» [2, с. 249].

Но не только индивид ценен — каждая эпоха имеет свою полноту. Никакие поколения не должны приноситься в жертву будущему. Идея же прогресса приносит многообразие в жертву единой логике. Герцен, не имея веры в единый прогресс, по-своему предвосхищает ставшее впоследствии значимым представление о разных судьбах разных культур и/или цивилизаций. И хотя Герцен не говорит ни о каком конце истории, у него явственно сквозит острое чувство конца эпохи. Современная ситуация настойчиво сравнивается с упадком Древнего Рима.

Конец эпохи, как и конец истории тоже необходимо осмысливать и провозглашать. В этом своя, отдельная, особая роль. Именно благодаря такой постановке вопроса уже в начале нового, XX века находит массу приверженцев философия безвестного до той поры преподавателя гимназии Освальда Шпенглера. Однако рассуждение о том самом закате той самой Европы можно уже обнаружить у Герцена: «Эта часть света кончила свое, силы её истощились; народы, живущие в этой полосе, дожили до конца своего призвания, они начинают ту-

петь, отставать» [4, с. 69–70]. Герцен с сожалением, но в то же время мудрой покорностью перед неизбежным констатирует, что старый мир обречен умереть: «я вижу неминуемую гибель старой Европы и не жалею ничего из существующего» [4, с. 14]. Будущее за неким другим народом — юным и варварским, драма которого, впрочем, по всей вероятности, будет разворачиваться на тех же подмостках — в тех же географических пределах, как, собственно, единожды это уже произошло, когда прежний античный языческий мир был вытеснен христианским. Поскольку Герцен — атеист, его отношение к последнему далеко не однозначно, однако, хотя у истории и нет цели, но есть направление, потребность, оставляя позади отжившее, продвигаться вперед.

Лучшее, что возможно — это конец старого мира признать, с ним смириться, перестать цепляться за прошлое, затрудняя и замедляя наступление мира нового, которое всё равно неминуемо. Л.Я. Гинзбург называет «С того берега» поэмой о двух мирах, о гибели старого и рождении нового мира [6, с. 116]. Привлекая немало примеров, Герцен на все лады сравнивает современную ему ситуацию с упадком Древнего Рима. Будущее сулит пришествие «новых варваров» [4, с. 58] — тоже весьма популярная для XX века формулировка, продолжающая на разные лады использоваться и по сей день.

Отдельно принадлежащий Герцену неутешительный прогноз примечателен тем, что рассуждение о закате Европы формулируется не исконно европейским автором, а человеком, имеющем больше оснований претендовать на роль стороннего наблюдателя, хотя всё же знающего о том, что происходит отнюдь не понаслышке.

Нельзя между тем не отметить, что мысль о закате Европы скорее славянофильская, нежели западническая. Первым подробно о разных судьбах разных цивилизаций (культурно-исторических типов) в русской мысли начнет рассуждать Н.Я. Данилевский⁶, находящий в этой своей концепции основания для идеологии панславизма. Через уникальность каждой цивилизации легко объяснить особый путь, по которому разви-

⁶ Первое издание «России и Европы» выходит в 1870 году.

валась Россия, более того, оправдать всякую критику любых внешних влияний и заимствований.

Шпенглер, о возможном знакомстве которого с трудами Данилевского не раз говорилось, хотя достоверных следов, способных это подтвердить, так никем и не было обнаружено, допускал, что будущее — за русско-сибирской культурой как молодой, только ещё пробуждающейся. Однако сам Герцен от подобных прогнозов в пользу своих соотечественников (пусть даже тех, кому только ещё предстоит родиться) воздерживается. Раз у истории нет либретто, что, кроме случая, может обеспечить сбываемость тех или иных предсказаний? Куда вернее выносить приговор тому, чему по всем признакам суждено кануть в прошлое, не получив продолжения.

Заявляя, что «блестящая эпоха индустрии проходит, она пережита так, как блестящая эпоха аристократии» [4, с. 58], уже из середины XIX века Герцен готов полагать, что индустриальный этап не может быть ни высшим, ни окончательным в развитии человеческих обществ. Больше того: «все нищают, не обогащая никого; кредиту нет, все перебиваются с дня на день, образ жизни делается менее и менее изящным, грациозным, все жмутся, все боятся, все живут, как лавочники, нравы мелкой буржуазии сделались общими; никто не берёт оседлости» [4, с. 58–59]. Примечательно, что в том варианте «Феноменологии духа», каковой довольно «просто» и по-французски излагает слушателям своих знаменитых лекций Александр Кожев, буржуа — это как раз субъект промежуточный, приходящий на смену противостоящим друг другу рабу и господину, предвещающий явление гражданина, который, добившись признания в рамках универсального однородного государства, завершает собой историю. Почти теми же словами (хотя в целом о другом) у Герцена: «буржуазия именно представляет это полуосвобождение», с уточнением, что «развитие среднего сословия, конституционный порядок дел — не что иное, как промежуточная форма, связующая мир феодально-монархический с социально-республиканским» [4, с. 61]. Однако у следующего за Гегелем и Кожевом Френсиса Фукуямы субъект конца истории — это уже «последний человек», отсылающий к тому самому антигерою у Ницше, который ещё все время моргает. И хотя на мо-

мент начала XXI века историю по-прежнему трудно признать завершённой, уже век XX даёт весьма красноречивые примеры того, какую роль в ней могут сыграть лавочники.

«С того берега», помимо прочего, содержит довольно подробное и весьма безжалостное описание массы. «Массы полны тайных влечений, полны страстных порывов, у них мысль не разъединилась с фантазией, у них она не остается по-нашему теорией, она у них тотчас переходит в действие» [4, с. 69], — это уже практически психология масс. Симпатии Герцена при этом оказываются скорее на стороне аристократии и аристократизма — ровно как у автора, вероятно, известнейшего высказывания о массах Хосе Ортеги-и-Гассета. И тот, и другой противопоставляют массу меньшинству: «ответственность скорее на меньшинстве, которое представляет собою сознannую мысль своего времени, хотя и оно не виновато» [4, с. 81–82]. В то же время и «на полусознательную массу людей нельзя сердиться; взойдите в её состояние борьбы между предчувствием света и привычкой к темноте» [4, с. 91] — рассуждают участники другого, являющегося частью «С того берега» диалога «Consolatio». Понятие вины представляется Герцену уместным разве что в суде. Понимание истории, смысла тех или иных её событий не оставляет возможности обвинять. Как тут не вспомнить о понимании как специфическом методе наук о духе? Трагизм же истории в том, что никто в ней не отвечает за то, что получает с рождения — будь то бедность или богатство. Ни меньшинство, ни масса не виноваты, что вынуждены противостоять друг другу. Неуместно обвинять, но также не следует идеализировать. Герцен обвиняет современных ему либералов в том, что им «легче было выдумать народ, нежели его изучить» [4, с. 83], больше того, сделали этот вымышленный народ кумиром своей политической религии. Настоящий же народ тяготеет к тому, чтобы выбирать себе бонапартов — именно в этом контексте звучит уже процитированная выше фраза по поводу широкой поддержки, которую удалось получить Луи-Наполеону.

Итак, Герцен выносит безжалостный, но вполне реалистичный, без тени метафизики приговор современному ему обществу, как это делали или пытались сделать многие влиятельные интеллектуалы XX века. Возможно, именно эта — кри-

тическая — составляющая так привлекательна в главах «С того берега», равно как критическая составляющая теории Маркса имеет куда больше сторонников, чем то, что относится к положительным пунктам его программы. Так и «крестьянский социализм» сейчас не слишком много оснований вспоминать, тогда как разговор о кризисе европейской цивилизации остается актуальным и спустя полтора века, хотя цивилизация эта, несмотря на обилие мрачных прогнозов, по-прежнему продолжает существовать.

Последняя глава «С того берега» посвящена полемике с консерватизмом. Есть у истории некое предзаданное направление или нет его, но вектор только один — вперед, сколь бы ни был труден и катастрофичен подобный путь. Попытка же вернуться назад может вести только к неминуемой и бесславной гибели. При этом смерть старого мира очевидна не для всех, потому что не предполагает тотального исчезновения с лица земли — составные части долго ещё продолжают существовать, хотя разрушается главный связующий принцип. Так, многие элементы римской культуры продолжали существовать в наступившем средневековье.

«В сущности, нет ни церкви, ни войска, ни правительства, ни суда — все превратилось в полицию» [4, с. 116] — так выглядит почти мертвое, по-прежнему пытающееся себя отстоять и защитить; этими словами Герцен описывает наблюдаемую им Европу, Европу середины XIX века. Террор в любом случае нельзя одобрить как метод, но всё же он может служить как продвижению вперед (пусть и пугающе дорогой ценой, прогрессу и развитию Герцен готов простить многое), так и пробуксовыванию на месте и даже откату назад, если к нему прибегают не революционеры, а консерваторы: «Мы не думаем, чтоб задержать ход человечества на минуту было невозможно, но оно невозможно без варфоломеевских ночей» [4, с. 139].

Таков старый мир, который, уже разлагаясь, по-прежнему борется за свои права. Точно так боролся Древний Рим с заполнявшими его представителями мира нового — христианами. Однако в прошлом эта борьба, по сравнению с нынешней, на взгляд Герцена ещё вполне безобидна, в Риме не было ещё ничего из тех средств насилия, которые, затем, избрела западная

церковь, «так успешно употребленных в избииении альбигойцев, в Варфоломеевскую ночь, во славу которой до сих пор оставлены фрески в Ватикане, представляющие богобоязненное очищение парижских улиц от гугенотов, — тех самых улиц, которые мешане год тому назад так усердно очищали от социалистов» [4, с. 142].

Что же в свое время сумел доказать и показать гибнущий Рим? Только меру своей косности, консерватизма, жестокости, на которую можно пойти, защищая то, что уже отжило. Но смелу эпох обеспечивает не власть, не сила или насилие, а идея — «мир... спасается *словом*, носящим в себе зародыш нового мира, а не воскресением из мертвых старого» [4, с. 134]. «Умнейшему из реакционеров», как говорится о Юлиане Отступнике, остается только признать: «*Ты победил, Галилеянин!*» [4, с. 143]. Этими словами заканчивается последняя часть «С того берега».

Для Герцена несомненно, что этим новым Галилеянином должен стать социалист. Но, по аналогии с описанием предыдущей смены эпох, логично предположить, что и эта победа и плоды её могут оказаться горькими, точно так же как далеко не однозначно оценивал Герцен торжество не близкого ему христианства.

Литература

1. Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет. М., 1971.
2. Герцен А.И. Былое и думы // Герцен А.И. Собр. соч. Т. 8. М., 1956.
3. Герцен А.И. Дилетантизм в науке // Герцен А.И. Собр. соч. Т.3. М., 1954.
4. Герцен А.И. С того берега // Герцен А.И. Собр. соч. Т. 6. М., 1955.
5. Герцен А.И. Письма 1839–1847 годов // Собр. соч. Т. 22. М., 1954.
6. Гинзбург Л.Я. «С того берега» Герцена (проблематика и построение) // Изв. АН СССР. Отд. лит. и яз., 1962, т. XXI, вып. 2.
7. Ленин В.И. Исторические судьбы учения Карла Маркса // Полн. собр. соч. Изд. 5. М., 1973. Т.23
8. Примечания // Герцен А.И. Сочинения в 2-х т. : Т. 2 М., 1986.

Сведения об авторе: Рапопорт Ева Вадимовна, факультет философии НИУ ВШЭ, отделение культурологии, преподаватель.